

И.П. Эккерман

Разговоры с Гёте

В последние годы его жизни

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82.09
ББК 83.3
И11

И11 **И.П. Эккерман**
Разговоры с Гёте: В последние годы его жизни / И.П. Эккерман – М.: Книга по Требованию, 2016. – 606 с.

ISBN 978-5-458-24129-8

"Разговоры с Гете" Иоганна Петера Эккермана, долголетнего секретаря Иоганна Вольфганга Гете, представляют один из ценнейших источников для научения личности великого немецкого писателя, его взглядом на литературу, искусство, историю, философию, естествознание и т. д.

ISBN 978-5-458-24129-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2016

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2016

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

То, что мы зовем *непреложной истиной*, пусть применительно к единичному объекту, не может быть чем-то мелким, узким, ограниченным. Истина, даже будучи предельно простой, объемлет многое, и говорить о ней так же трудно, как о проявлениях закона природы, равно распространяющегося вглубь и вширь. От нее не отделаешься ни речью, ни красноречием, ни словом, ни прекословием, все это, вместе взятое, в лучшем случае приближает нас к искомой цели, но еще не означает, что мы достигли ее.

Дабы не быть голословным, скажу, что отдельные высказывания Гете о поэзии иной раз носят несколько односторонний, а иной раз и явно противоречивый характер. То он придает первостепенное значение материалу, который поставляет поэту внешний мир, то усматривает центр тяжести во внутреннем мире поэта; один раз утверждает, что главное — это тема, другой — ее разработка; то он главным объявляет совершенство формы, то вдруг, полностью пренебрегая ею, — лишь дух произведения.

Однако все эти высказывания и все опровержения таковых — лишь разные стороны истины, в целокупности они характеризуют ее существо и ближе подводят нас к ней; посему я, как в данном случае, так и в некоторых других, остерегался сглаживать такие *мнимые противоречия*, обусловленные самыми различными поводами, а также неодинаковым душевным состоянием в те или иные годы, даже в те или иные часы. Я надеюсь при этом на проницательность и широкий кругозор просвещенного читателя, который не позволит частностям сбить себя с толку, но сумеет правильно распределить и объединить их, всегда имея перед глазами целое.

Возможно также, что читатель споткнется о многое, на первый взгляд кажущееся незначительным. Однако, взглянув поглубже, он неминуемо заметит, что такие мелочи часто бывают предвестниками чего-то куда более значительного, иногда служат обоснованием последующего или добавляют какую-нибудь черточку к описанию характера, а посему они, будучи своего рода необходимостью, заслуживают если не канонизации, то хотя бы снисхождения.

Итак, напутствуя добрым словом эту давно взлелеянную книгу при выходе ее в свет, я желаю ей порадовать читателя, а также пробудить в нем и пошире распространить благое и вечное.

Веймар,
31 октября 1835 г.

ВВЕДЕНИЕ

Автор сообщает о себе, своем происхождении и о том, как произошло его знакомство с Гете.

В Винзене-на-Луге, городке, расположенном между Люнебургом и Гамбургом, там, где болота граничат со степью, я родился в начале девяностых годов в убогой хижине, — иначе, пожалуй, не назовешь домишко, в котором была одна лишь комната с печью, а лестницы и вовсе не было, если не считать приставной лесенки возле входной двери, по которой мы лазили на сеновал.

Я был последним ребенком от второго брака и помню своих родителей уже очень немолодыми людьми, с ними я и рос, довольно одиноко. У моего отца было еще два сына от первой жены, один из них, матрос, после долгих морских странствий угодил в плен где-то в дальних краях и пропал без вести, другой же, неоднократно ходивший в Гренландию как китолов и охотник за тюленями, благополучно вернулся в Гамбург и жил там в сравнительном достатке. Были у меня и две старшие единокровные сестры, но когда мне исполнилось двенадцать лет, обе пошли в услужение и жили то в нашем городке, то в Гамбурге.

Главным источником существования всей семьи была корова, она не только ежедневно давала нам молоко, но мы еще всякий год выкармливали теленка и даже время от времени умудрялись продавать немного молока. Вдобавок мы владели акром земли, и урожай с него на весь год обеспечивал нас необходимыми овощами. Зерно же для выпечки хлеба и муку для стряпни нам приходилось покупать.

Моя мать была отличная мастерица, она не только искусно пряла шерсть, но и шила шапочки для наших горожанок, которыми ее клиентки всегда оставались довольны. Оба эти ремесла приносили ей небольшой, но верный доход.

Отец мой, занимаясь мелкой торговлей вразнос, часто отлучался из дому и пешком бродил по окрестностям. Летом он странствовал из деревни в деревню с лубяным коробом на спине, полным лент, ниток и шелка. В этих же деревнях он скупал шерстяные чулки и домотканую материю из коричневой овечьей шерсти и льняных ниток, которую потом сбывал на другой стороне Эльбы, в Фирланде, куда перебирался со своим коробом. Зимой он торговал необработанными гусиными перьями и небеленым по-

лотном, на пароходе отправляя этот товар, скупленный в равнинных деревнях, в Гамбург. Но барыш его во всех случаях был, видимо, ничтожен, ибо мы всегда жили в бедности.

Что касается *моих* детских занятий, то они тоже определялись временем года. Ранней весной, когда, после разлива Эльбы, спадали полые воды, я каждый день отправлялся к плотинам или холмам собирать прибившийся туда тростник, — он годился на подстилку для коровы. Когда же на наших обширных лугах проросла первая травка, я вместе с другими мальчишками с раннего утра до наступления ночи пас коров. Летом я работал на огороде и, как, впрочем, и весь год, таскал для плиты хворост из небольшого леса, в каком-нибудь часе ходьбы от нашей хибарки. Во время жатвы я неделями бродил по полям, собирая колосья, а когда осенние ветры начинали сотрясать деревья, усердно подбирая желуди и осьминами продавал их более зажиточным горожанам — на прокорм гусей. Подросши, я стал сопровождать отца в его странствиях из деревни в деревню, помогая ему тащить короб. Это время — одно из лучших воспоминаний моего отрочества.

В таких вот условиях и занятиях, лишь время от времени посещая школу и выучившись читать и писать с грехом пополам, я дожил до четырнадцати лет, и никто не станет отрицать, что с тех пор до близких и доверительных отношений с *Гете* мне нужно было сделать огромный, почти невероятный шаг. Я понятия не имел, что в мире существует поэзия, существуют изящные искусства, а значит, к счастью, не мог испытывать хотя бы и смутной тоски по ним.

Говорят, животных вразумляют их собственные органы чувств, о человеке, думается мне, можно сказать, что относительно тех высоких задатков, которые в нем дремлют, его нередко вразумляет случайность. Нечто подобное произошло со мной, и случайность эта, сама по себе мало значительная, навек запомнилась мне, ибо дала иное, новое направление всей моей жизни.

Однажды вечером при зажженной лампе я сидел за столом вместе с отцом и матерью. Отец только что воротился из Гамбурга и рассказывал нам о своих торговых делах. Будучи завзятым курильщиком, он привез с собою пачет табаку, который лежал передо мною на столе, на его этикетке была изображена лошадь. Эта картинка показала мне прекрасной, а так как под рукой у меня было перо, чернила и клочок бумаги, то мною овладело неудер-

жимое желание срисовать ее. Отец продолжал свой рассказ о Гамбурге, я же, не замечаемый родителями, углубился в срисовывание лошади. Покончив с этим, я решил, что моя копия точно соответствует оригиналу, и ощутил прилив доселе неведомого счастья. Я показал свою работу родителям, они пришли в восторг и стали наперебой хвалить меня. Ночь я провел в радостном возбуждении, почти без сна, непрестанно думая о нарисованной мною лошади и нетерпеливо дожидаясь утра, чтобы заново на нее полюбоваться.

С этого дня потребность чувственного воспроизведения, во мне пробудившаяся, уже не оставляла меня. Но так как в нашей глухомани мне не от кого было ждать помощи, то я был положительно счастлив, когда наш сосед, гончар, дал мне несколько тетрадей с контурными рисунками, которые служили ему образцами при росписи тарелок и мисок.

Я тщательнейшим образом перерисовал их пером, заполнив целых две тетради, которые вскоре стали ходить по рукам и дошли до главной персоны нашего городка — старейшины *Мейера*. Он позвал меня к себе, щедро одарил и от души меня расхваливал. Далее он осведомился, хочу ли я стать художником, в таком случае он отправит меня, — конечно, после конфирмации, — к искусному мастеру в Гамбург. Я ответил, что очень хочу, мне надо только обсудить все это с родителями.

Однако мать и отец, крестьяне и вдобавок жители захолустья, где люди главным образом занимались земледелием и скотоводством, под словом «художник» понимали человека, который красит дома и двери. Они воспротивились моему намерению, заботливо доказывая, что это не только грязное, но и опасное ремесло, можно-де запросто сломать себе ноги и шею, что уже не раз случалось в Гамбурге, где есть дома высотой в семь этажей. Поскольку мои собственные понятия о художниках вряд ли возвышались над их понятиями, то у меня живо пропала охота к этому ремеслу, и я начисто позабыл о предложении великодушного старейшины.

Но наши именитые горожане, однажды меня заметив, уже не забывали обо мне и пеклись о моем развитии. Так мне была дана возможность брать частные уроки. Вместе с немногочисленными детьми из видных семейств я учил французский язык, а некоторое время даже латынь и музыку; меня снабжали хорошим платьем, и достойный суперинтендент Паризиус не считал зазорным приглашать меня к своему столу.

С этих пор я полюбил ученье, тщился подольше использовать обстоятельства, мне благоприятствовавшие, и родители мои не возражали против того, что я конфирмовался лишь на шестнадцатом году.

Но вот уже ребром встал вопрос: кем я стану? Если бы все могло идти в согласии с моими желаниями, то при моей склонности к наукам меня следовало бы отдать в гимназию. Но об этом и мечтать не приходилось,— у родителей не только не было средств для того, чтобы учить меня, но трудное наше положение властно приказывало мне добиваться возможности обеспечить не только себя, но и в какой-то мере прийти на помощь моим бедным старикам.

Эта возможность представилась мне сразу после конфирмации: один из судейских чиновников предложил мне служить у него и наряду с обязанностями писца выполнять еще разные мелкие поручения, на что я, конечно, с радостью согласился. За последние полтора года усердного посещения школы я очень понаторел как в чистописании, так и в разного рода сочинениях, что дало мне основание считать себя достаточно подготовленным для предложенной мне должности. Заодно с вышеупомянутыми занятиями я вел кое-какие мелкие адвокатские дела и, случалось, в общепринятой форме составлял жалобы и записывал судебные решения; продолжалась эта работа два года, то есть до 1810 года, когда ганноверское судебное ведомство в Винцене-на-Луге было расформировано, так как Ганноверский округ вошел в состав департамента Нижней Эльбы, последний же принадлежал к Французской империи.

Я получил должность в дирекции прямых налогов в Люнебурге, а когда в следующем году она, в свою очередь, была упразднена, стал служить в подпрефектуре Ильцена. Там я проработал до конца 1812 года, когда префект, господин фон Дюринг, счел возможным выдвинуть меня на пост секретаря мэрии в Бевензене, где я оставался до весны 1813 года. Этой весной приближение казаков пробудило в нас надежды на освобождение от французского владычества.

Я вышел в отставку и уехал на родину с единственным намерением тотчас же примкнуть к защитникам отечества, которые там и здесь уже начали негласно формировать свои отряды. Мне это удалось, и к концу лета, вступив добровольцем в Кильмансеггский егерский корпус, я с винтовкой и ранцем за плечами выступил вместе с ротой капитана Кнопа в зимний поход 1813/14 года через Меклен-

бург и Голштинию на Гамбург, где засел маршал Даву. Засим мы форсировали Рейн, чтобы сразиться с генералом Мэзоном, и лето провели, то наступая, то отступая, в плодородной Фландрии и Брабанте.

Здесь перед прославленными полотнами нидерландцев мне открылся новый мир; целые дни проводил я в церквах и музеях. Собственно говоря, это были первые картины, которые я увидел, и теперь только понял, что значит быть художником: я смотрел всеми признанные работы учеников и готов был рыдать оттого, что мне этот путь заказан. Но решение пришло тут же, на месте; в Турне я свел знакомство с неким молодым художником, раздобыл грифель, лист бумаги для рисования самого большого формата и тотчас же уселся перед одной из картин, намереваясь ее скопировать. Страсть подменила собою недостаток упражнения и отсутствия руководства, я благополучно справился с контурами фигур. И уже начал слева направо растушевывать рисунок, когда приказ о выступлении прервал это радостное занятие. Я торопливо пометил буквами чередование света и тени на незавершенной части рисунка, в надежде, что со временем, урвав часок-другой, сумею закончить эту работу. Затем скатал лист и сунул его в котелок, который вместе с винтовкой висел у меня за спиной во время длинного перехода от Турне до Гаммельна.

В Гаммельне осенью 1814 года егерский корпус был расформирован. Я уехал на родину. Отец мой скончался, мать жила вместе с моей старшей сестрой, которая тем временем вышла замуж и в приданое получила родительский дом. Я тотчас же вновь занялся рисованием. Прежде всего закончил картину, привезенную из Брабанта, а так как иных образцов у меня здесь не было, я обратился к маленьким гравюрам на меди Рамберга и стал в увеличенных масштабах воспроизводить их грифелем, но быстро почувствовал отсутствие необходимых знаний и упражнений; я так же мало смыслил в анатомии человека, как и животных, не имел ни малейшего понятия о том, как следует изображать различные породы деревьев и различные почвы, отчего и затрачивал невероятные усилия, прежде чем достигнуть хотя бы приблизительного сходства.

Итак, мне очень скоро уяснилось, что если я хочу стать художником, то начинать надо по-другому и что дальше брести ощупью — значит понапрасну растрачивать силы. Отыскать умелого мастера и начать все сначала — вот было мое решение.

Ни о каком другом мастере, кроме *Рамберга* из Ганновера, я, конечно, не помышлял. К тому же мне думалось, что устроиться в этом городе я смогу легче, чем в другом, ибо там в полном благополучии проживал друг моей юности, чья преданная дружба и неоднократные приглашения сулили мне поддержку.

Сказано — сделано, я связал свой узелок и в середине зимы 1815 года в полном одиночестве вышел в заснеженную степь и после нескольких дней пешего хождения добрался до Ганновера.

Конечно, я не замедлил явиться к Рамбергу и посвятить его в свои мечты и намерения. Просмотрев листы, мною принесенные, он, видимо, не усомнился в моих способностях, однако заметил, что для занятий искусством надо иметь средства на прожитие, ибо преодоление технических трудностей требует долгого времени, рассчитывать же, что искусство вскорости принесет необходимые средства к жизни — не приходится. Тем не менее он выразил полную готовность мне содействовать, из целой груды своих рисунков отобрал несколько листов с изображением частей человеческого тела и дал их мне с собой для копирования.

Итак, я жил у своего друга и рисовал с Рамберговых оригиналов. Я делал успехи, ибо листы, которые он мне давал, раз от раза становились сложнее. Всю анатомию человеческого тела воспроизвел я в своих копиях, упорно повторяя наиболее трудное — руки и ноги. Так прошло несколько счастливых месяцев. Но наступил май, и я начал прихварывать, а в июне уже не мог водить грифелем, до такой степени у меня дрожали руки.

Мы обратились за помощью к умелому врачу. Он нашел мое состояние опасным и объявил, что после длительного военного похода кожа у меня не пропускает выделений, весь жар перекинулся на внутренние органы, и если бы я не спохватился еще недели две, то гибель моя была бы неминуема. Он прописал мне теплые ванны и прочие средства для восстановления деятельности кожи. Вскоре и правда наступило известное улучшение, однако о продолжении занятий рисунком даже думать не приходилось.

Между тем я пользовался заботливейшим уходом и вниманием своего друга, никогда ни намеком, ни словом он не обмолвился о том, что я его обременяю или могу обременить в будущем. Но я-то все время об этом думал, и если не исключено, что давняя, тщательно таимая забота

ускорила вспышку дремавшей во мне болезни, то мысль о расходах, предстоявших мне в связи с моим выздоровлением, и вовсе не давала мне покоя.

В эту пору внутренних и внешних неурядиц мне вдруг представилась возможность устроиться на службу в одну из комиссий военного ведомства, занимавшуюся обмундированием ганноверской армии, и ничего нет удивительного, что, теснимый обстоятельствами, я с радостью воспользовался этой возможностью, поставив крест на карьере художника.

Я быстро поправлялся, ко мне вернулось хорошее самочувствие и давно уже позабытая веселость. Меня радовало, что теперь я смогу хоть до некоторой степени отблагодарить своего друга за великодушие. Новизна обязанностей, к которым я относился с сугубым рвением, занимала мой ум. Начальники представлялись мне людьми благороднейшего образа мыслей, а с коллегами, — некоторые из них проделали весь поход в составе того же корпуса что и я, — у меня вскоре завязались самые дружественные отношения.

Упрочив свое положение, я получше огляделся в Ганновере, — там было много интересного, и в часы досуга я без устали бродил по очаровательным его окрестностям. Я подружился с одним из учеников Рамберга, многообещающим молодым художником, и он сделался постоянным спутником моих странствий. Поскольку я из-за нездоровья и других обстоятельств вынужден был отказаться от практических занятий искусством, для меня большим утешением стали наши ежедневные беседы о том, что было дорого нам обоим. Я принимал участие в его композиционных замыслах, ибо он частенько показывал мне наброски, которые мы вместе обсуждали. По его рекомендации я прочитал весьма полезные для меня книги: Винкельмана, Менгса, но так как мне не довелось видеть произведений, о которых говорили эти авторы, то большой пользы я из этого чтения не извлек.

Мой друг, родившийся и выросший в резиденции, значительно превосходил меня образованностью, кроме того, он хорошо разбирался в изящной словесности, чего я отнюдь не мог сказать о себе. В ту пору героем дня был *Теодор Кёрнер*; он принес мне сборник его стихотворений «*Лира и меч*», которые, разумеется, поразили меня и привели в восхищение.

Много я наслушался разговоров о художественном воздействии стихотворения, но мне всегда наиболее важным

представлялось воздействие его *содержания*. Сам того не сознавая, я сделал этот вывод, прочитав книжечку «*Лира и меч*». Тот глубокий и мощный отклик, который она нашла в моей душе, прежде всего объясняется тем, что и я, подобно Кёрнеру, вынашивал в своем сердце ненависть к нашим долголетним угнетателям, что и я участвовал в освободительной войне и тоже прошел через все трудности форсированных маршей, ночных биваков, сторожевых охранений и боев, при этом думая о том же, о чем думал он, и то же самое чувствуя.

Надо сказать, что значительное произведение искусства обычно глубоко меня волновало, пробуждая и во мне творческие силы; не иначе было, разумеется, и со стихотворениями Теодора Кёрнера. Мне вспомнилось, что в детстве, а также и позднее, я сам время от времени писал маленькие стихотворения, о которых тотчас же забывал, ибо, во-первых, не ценил такого рода мелочи, без труда появлявшиеся на свет, а во-вторых, потому, что для оценки поэтического таланта надобна известная зрелость ума. Теперь же поэтический дар Теодора Кёрнера показался мне столь славным и достойным подражания, что я ощутил неодолимую потребность испытать и себя на этом поприще.

Возвращение наших войск из Франции дало мне желанный повод. В моей памяти все еще жили те несказанные трудности, которые выпадают на долю солдата в полевых условиях, тогда как беспечный бюргер, живя у себя дома, зачастую не претерпевает даже малейших неудобств. Мне подумалось, что это положение следует отобразить в стихах и, пробудив умы наших соотечественников, тем самым обеспечить горячую встречу возвращающимся войскам.

Я отпечатал за свой счет несколько сот экземпляров стихотворения и распространил его по городу. Впечатление, им произведенное, превзошло все мои ожидания. Оно принесло с собою множество весьма приятных знакомств. Мне радостно было слышать, что люди разделяют мои чувства и воззрения, меня поощряли к продолжению поэтических опытов, уверяли, что талант, мною выказанный, заслуживает дальнейшего развития. Стихотворение появилось в газетах, его перепечатали в других городах, и вдобавок мне еще была суждена радость услышать его переложенным на музыку одним из любимейших тогда композиторов, хотя из-за своей длины и риторической манеры изложения оно мало напоминало песню.

С тех пор и недели не проходило, чтобы я, к вящей своей радости, не написал нового стихотворения. Мне шел двадцать четвертый год, и целый мир чувств, стремлений и воли к добру кипел во мне, но, увы, пи духовной культуры, ни знаний у меня не было. Мне советовали заняться изучением наших великих писателей, в первую очередь *Шиллера* и *Клопштока*. Я обзавелся их творениями, читал, восхищался, но они мало способствовали моему развитию; пути этих гениев, чего я тогда и не подозревал, пролегли далеко в стороне от пути, по которому влекла меня моя природа.

В это время я впервые услышал имя *Гете*, и впервые мне в руки попался томик его стихов. Я читал его песни, читал и перечитывал, испытывая такое счастье, о котором словами не скажешь. Мне чудилось, что я лишь сейчас пробуждаюсь к жизни, лишь сейчас начинаю осознавать ее; в этих песнях словно бы отражался мой собственный, доселе мне неведомый внутренний мир. И нигде-то я не наткнулся на чужеродное или выпренное, на что бы не достало моего бесхитростного человеческого мышления и восприятия. Нигде не встречались мне имена чужеземных или устарелых божеств, которые не вызвали бы во мне ничего, кроме растерянности. Нет, повсюду здесь билось человеческое сердце, со всеми его томлениями, с его счастьем и горестями, немецкая суть представляла передо мной ясная, как день за окном, как подлинная действительность, просветленная искусством.

Недели, месяцы жил я этими песнями. Затем мне удалось достать «Вильгельма Мейстера», немного позднее — жизнеописание Гете, затем — его драматические произведения. «Фауста», который поначалу оттолкнул меня безднами человеческой природы и порока, а затем стал больше и больше притягивать своей могучей и таинственной сутью, я читал все праздничные дни напролет. Восхищение и любовь непрестанно росли во мне, я, можно сказать, жил творениями Гете, только о нем думал и говорил.

Польза, которую мы извлекаем из произведений великого писателя, многообразна, но главное — это то, что через них мы познаем не только свой внутренний мир, но отчетливее видим и все многообразие мира внешнего. Так воздействовали на меня произведения Гете. И еще они научили меня лучше наблюдать и воспринимать чувственные объекты и характеры; благодаря им я мало-помалу пришел к пониманию единства и глубочайшей гармонии индивида с самим собою, а это, в свою очередь, подвело